

А.В. Рубцов

Эволюция, революция, ре-эволюция?

Революция есть варварский способ прогресса.

Ж.Жорес

Цивилизационный сдвиг означает не что иное, как переход от одной цивилизации к другой. Применительно к нашим реалиям это звучит стопроцентно убедительно, пока не начинаешь буквально по пальцам перебирать простую фактуру этих изменений и сравнивать их с перепадами цивилизаций, известными из истории и из современной культурной географии. Если традиционная Россия и представляет собой иную, особую цивилизацию, нежели то, что сейчас формируется, то все же она далеко не настолько чужда нынешнему модернизированному и постмодернизирующемуся Западу, как, скажем, родоплеменная Африка или так и оставшаяся в средневековые части Востока. Говорить о России как об особой цивилизации приятно, поскольку это льстит нашему национальному (интернациональному) самолюбию, но вряд ли это можно делать без существенных оговорок. Суть дела в том, что Россия сейчас не просто совершает цивилизационный переход, пересматривая свои взаимоотношения с «традиционно российским». В процессе продолжающейся декоммунизации она одновременно осуществляет частичный **возврат** — причем возврат как раз к тому самому «российскому», что было более или менее прогрессивным для своего времени (по нашим местным и даже по мировым меркам), к тому, что было brutally порушено сначала революцией, а потом почти веком тоталитарного и посттоталитарного «обновления». С этой точки зрения Рос-

сия, догоняя Запад и тех, кто успел за ним вовремя последовать, в целом ряде отношений не уходит от себя, но **возвращается к себе**. Она движется вперед, одновременно как бы возвращаясь назад, к своим же собственным ценностям, навыкам и укладам, когда-то и в какой-то степени почти обретенным, но затем революционно утраченным. Суть дела осложняется тем, что Россия не просто входит в новую, хотя и давно желанную для себя цивилизацию, но входит именно в тот момент, когда эта цивилизация пересматривает собственные основания, сама переживает цивилизационный сдвиг. Мы прыгаем с платформы на платформу, думая, что догоняем поезд, от которого вечно отставали, тогда как сам этот поезд в этот самый момент резко сворачивает, а в чем-то и начинает двигаться в обратном направлении.

Революционные сдвиги вызывают адекватную, симметричную реакцию застарелого, нездорового консерватизма. И все это происходит в одном времени, заставляет так или иначе уживаться несовместимое. В результате страну тянет в разные стороны. Поэтому спонтанное течение истории и ее целесознательные преобразования нередко порождают странные, иногда просто абсурдные явления. Особенно в России. Здесь сложен и неоднороден не только процесс, но и та временная «пустота», та *темпоральная конструкция*, в которой он реализуется. Изменяемым в истории оказывается сам характер взаимоотношения медленных и быстрых слоев ее течения. Это проявляется и теоретически и практически. С одной стороны, мы пользуемся богатыми исследовательскими, эвристическими возможностями, которые при этом открываются, а с другой — учимся практически, в самой жизни предотвращать возникающие здесь принципиально новые опасности.

Можно утверждать, что «медленное время» истории было открыто именно в эпоху сверхбыстрых перемен. Ровно в таком состоянии мы застаем Россию в конце XX — начале XXI столетия. Страна частью рванула вперед, а частью застряла в прошлом. Она проявила неординарную подвижность, но и нормальную инерционность. Многие из того, что мы воспринимаем в качестве обычных (т.е. синхронных) конфликтов социального, политического, культурного и т.п. толка, на самом деле скорее от-

носится к конфликтам *разрыва времени*. Там, где люди конфликтуют с людьми, сплошь и рядом прошлое конфликтует с настоящим и будущим.

Разные социально-политические режимы могут в разной степени акцентировать те или иные моменты воспроизводства сознания. Есть общества, где люди рвут друг у друга жизненные блага, не слыша ничего вокруг и чуть ли не молча. Есть общества, в которых только и делают, что договариваются о простых и прозрачных (максимально просто и нерасширенно воспроизводимых) правилах и долях такого дележа. Есть общества, в которых главным является говорение о безупречной справедливости такого дележа, но говорение настолько далекое от практики и по-разному всеми воспроизводимое, что страна в результате делится на тех, кто расширенно воспроизводит свое сознание, и на тех, кто в этой общей идейной пурге расширенно воспроизводит свои материальные и политические блага.

На первый взгляд, правильнее было бы сначала более подробно исследовать внутреннюю логику политического процесса, начавшегося при Путине, а уже потом делать выводы о том, чем этот процесс является с точки зрения типологии исторических изменений:

продолжением глубокой реформы в новых условиях и новыми средствами;

обычной реакцией, наступающей после прерванной или не вполне удавшейся реформы;

продолжением термидора (т.е. контрреволюционного переворота) или началом его полноценной стадии;

постреволюционной стабилизацией, обычно выступающей в форме диктатуры;

наконец, реставрацией старых порядков (а если так, то реставрацией чего именно, каких именно порядков?).

С точки зрения позитивного анализа, претендующего на классическую «научность», такое движение от частного к общему выглядит естественным. Однако с точки зрения социально-политической философии, надстраивающей над собственно позитивным анализом дополнительные уровни рефлексии, исследовательская процедура должна иметь и обратное движение. Позитивный историко-политологический анализ неизбеж-

но исходит из некоторых предпосылок, которые берутся как самоочевидные и не обсуждаются. Даже когда он свои предпосылки выявляет, это бывает скорее констатацией непосредственно видимого, нежели его рефлексивной критикой и поиском скрытого. За кадром всегда остается мощный предпосылочный слой (неявная *идеология теории*), который на этих уровнях рефлексии просто не отслеживается. Поэтому иногда полезно выявить эти самые непромысливаемые предпосылки, углубиться в них и рассмотреть варианты решения, которые были исключены из рассмотрения только лишь по причине изначального схематизма «научного» подхода.

Дело в том, что поскольку политологический анализ заметен для его авторов всегда окрашен такими предпосылками и принятыми в них ограничениями, в нем так или иначе присутствуют элементы предзаданности. Чтобы не попадать в ту же ловушку, лучше с самого начала разобрать макроисторические схемы, в которые такой анализ мог бы укладываться, сопоставить их сравнительную применимость к наличной ситуации, а уже потом излагать собственно политологию процесса. По крайней мере будет более ясно, на каких предпосылках и макроисторических схемах эта политология основывается, чем она концептуально «окрашивается» и, более того, чем в принципе может быть «окрашена». Таким образом, еще до начала анатомирования предмета всегда лучше иметь максимально широкий круг вопросов, которые в принципе можно поставить, и ответов, которые в принципе можно предложить.

Одно дело, когда мы спрашиваем себя о происшедшем в России в простой альтернативе «революция — не революция», и совсем другое, когда мы заранее выкладываем весь спектр возможных вариантов, включая их симбиозы, сrostки, наложения, взаимозамещения, взаимопоглощения и т.д. и т.п. И тем более мы освобождаемся (естественно, в какой-то мере) от предпосылочных ограничений, когда ставим вопрос о необходимости расширения круга обсуждаемых вариантов за счет поиска и придумывания новых. Здесь революционные процессы в познании совпадают с аналогичными процессами в политике. Революции происходят, когда старая система не может адекватно реформироваться и ответить на вызов времени из-за на-

личия в ней так называемых *встроенных ограничителей*. То же происходит и в теории: чем меньше в ней аналогичных встроенных ограничителей, тем более она адаптивна, способна к развитию и освоению новой эмпирии.

В качестве фундаментального, «классически научного» и пока чуть ли не уникального в этом роде примера можно привести фолиант И.В.Стародубровской и В.А.Мау «Великие революции. От Кромвеля до Путина»¹. Авторы приводят доводы в пользу понимания происходящего (или происшедшего) как революции; опровергают мнения некоторых из тех, кто сомневается в подлинной революционности случившегося; однако главная особенность этого подхода состоит в том, что его авторы вовсе не рассматривают другие, более простые или, наоборот, более сложные трактовки данных событий. Иными словами, они предъявляют и обосновывают свои предпосылки, но не исследуют само пространство производства и существования этих предпосылок и не заходят на соседние территории, имеющие другую, но родственную аксиоматику. В результате сама альтернатива «революция — не революция» начинает вызывать подозрения в том, что она несколько упрощена и заужена, что она заранее исключила другие возможные ответы, не укладываемые в эту альтернативу.

Как следствие такого подхода, заранее заготовленная схема революционного цикла замыкается сама на себе (начиная с классической для революции стадии «медового месяца» и заканчивая не менее классическими термидором и постреволюционной стабилизацией), вырезается из более обширной истории, а отдельные фазы процесса рассматриваются как фазы исключительно этого революционного цикла (а не анализируются, например, с точки зрения их возможной встроенности и в другие, более крупные исторические циклы и ритмы). Это не значит, что не анализируются предпосылки революции, причины, к ней приведшие. Однако революция рассматривается как имеющая свое определенное начало и, соответственно, столь же определенное окончание. В этом описании она имеет свою собственную логику и последовательность смены фаз. Могут ли эти ее фазы являться одновременно фазами других, существенно более длительных циклов, не рассматривается

даже как возможность. Например, согласно этому тексту мы заранее уверены в том, что путинский период является фазой постреволюционной стабилизации для революции, начатой Горбачевым и продолженной Ельциным. Но при этом остается за кадром, как все это входит в более общий цикл, начатый 1917 г., прошедший через сталинизм, «оттепель», его частичное и двусмысленное восстановление в эпоху «застоя» и т.д. Мы даже не спрашиваем себя, что может значить для квалификации и понимания российских событий последних пятнадцати лет тот факт, что они могут включать в себя (и скорее всего включают!) моменты надолго отложенной контрреволюции или элементы реставрации реалий, расположенных в самых разных позициях прошедшего, в разной удаленности от сегодняшнего дня. Проще говоря, мы вместе с авторами «Великих революций» начинаем анализ с Горбачева, борющегося с полуразвалившимся «застоем», и нанизываем на этот шампур все последующие стадии, тогда как циклические взаимоотношения нынешних процессов со сталинизмом, нэпом, Великим Октябрем и даже с его идейно-политическими предшественниками практически выпадают из поля зрения. К прошлым великим революциям нет привязки, хотя они и присутствуют здесь как исторический фон, дающий аналоги и поводы для выявления отличий.

Обращение к иным длительностям — это не просто вопрос подключения других, больших масштабов хронологии. Не случайно «длинные волны» истории проступают на своей особой фактуре, при обращении к принципиально другим слоям реальности — к эволюции повседневности, к изменениям в микрофизике власти и т.п. Если обращение к микрофизике власти, структурам повседневности открывает другие (большие) длительности, то укороченная размерность анализа (например, «революция» от Горбачева до Путина), наоборот, предполагает соответствующее сужение самого предметного поля. Не случайно в работе, посвященной «великим революциям», от которой мы в данном случае отталкиваемся, предметное поле практически ограничено тремя наделами: социальной опорой, политическими композициями (союзами, противостояниями, перебежками и т.п.) и экономикой. И хотя авторы специально и без лишнего чинопочитания разбираются с марксистской теорией

революции, анализ, подобный тому, что проделали они, вполне мог бы проделать В.Ульянов (Ленин), почти не поступившись при этом своими методологическими и мировоззренческими принципами.

Не говоря уже о более тонких материях, в таком анализе на задний план отступают и некоторые вполне макрофизические предметные поля, а именно:

глубокие эволюции массового сознания (не сводимые к ожиданиям и разочарованиям, влюбленностям и ненависти в отношении к политическим героям, сиюминутной активности или пассивности масс и т.п.);

значимость телесности в технологиях захвата политического тела (включая криминально-экономические репрессии госорганов или внутренние войны против сепаратизма, без которых, как выясняется из опыта «Великих революций», якобы можно исчерпывающе описывать логику революционного процесса);

технологии и каналы коммуникации (революция конца XX в., т.е. постиндустриального и уже почти информационного общества очень логично описывается в данном труде... без изменения роли телевидения и прессы);

внешний мир (причем не на уровне гуманитарной или финансовой помощи, вмешательства в наши внутренние дела и т.д., а как одна из систем отсчета наших изменений, задающая свои координаты в условиях передела геостратегических влияний и стремительной глобализации).

В дополнительной рефлексии нуждается также сам язык рассуждения и изложения. Важно понять не только смысл, но и сам процесс производства употребляемых значений, их соотношения друг с другом и с предполагаемой реальностью.

Обычная процедура производства значений через «научные дефиниции» в подобных случаях часто бывает не вполне адекватной, даже если учесть возможность более гибких способов определения понятий — остенсивных (задающих смысл через совокупности примеров), операциональных (делающих то же через описание процедур) и т.д. Особенно это заметно, когда политология соприкасается, а то и вовсе срастается с политической практикой (или с практической политикой). Из теории определения известно, что любая система дефиниций неизбеж-

но попадает в вилку между «дурной бесконечностью» (когда приходится все дальше и дальше определять термины, на которых строятся предыдущие определения — и всегда иметь «впереди» некие еще не определенные понятия) и «порочным кругом» (когда базовые понятия в итоге построения неизбежно замкнутой системы определений определяются сами через себя). И тогда на первый план выходят базовые **неопределяемые** понятия, вписанные в обыденное словоупотребление и этим словоупотреблением контролируемые (в данном случае — политической практикой). Как выясняется, язык науки без этих смыслов невозможен, а идея «нового позитивизма» построить идеальную, внутренне непротиворечивую, замкнутую на себя и самодостаточную систему понятий — утопична.

Но даже когда позитивно-научный анализ от обыденной (в данном случае политической) практики демонстративно отстраняется, его результаты так или иначе включаются в реальный политический процесс, вступают во взаимодействие с его языком и так или иначе политикой утилизируются. Обывателям говорят: «вы можете не заниматься политикой, но политика всегда занимается вами». То же можно сказать и общественной науке. И именно это буквально на глазах происходит сейчас с термином «революция» применительно к анализируемому периоду. С одной стороны, появляются научные тексты, в которых изменения последних лет исследуются в классической логике революций, со всеми процедурами традиционно понятой академической научности; а с другой стороны, определения тех же самых изменений как революционных с заметной регулярностью появляются в текстах власти и политических писателей, идейно обслуживающих осуществляемую политику. При этом в науке и политике под одними и теми же словами не всегда имеется в виду одно и то же (или **как правило** не имеется в виду одно и то же). Но всегда (или почти всегда) эти группы текстов реально взаимодействуют. И чаще они взаимодействуют таким образом, что в итоге не наука направляет политику, а политика использует науку. По крайней мере, в оперативном времени.

Особенно отчетливо эти «семантические» коллизии пропускают, если учесть принятое в логической семантике различие между значением и смыслом (экстенционалом и интенциона-

лом). Позволю себе вкратце напомнить, как это различие выглядит, например, в парадоксах именованя. Еще в старом Вавилоне было известно, что яркая «звезда», появляющаяся над утренним и вечерним горизонтом, является в действительности одним и тем же объектом, но она имеет два имени (по Г.Фреге, соответственно, *Morgenstern* и *Abendstern*), и эти смыслы явно не тождественны. Вопрос о том, являются ли изменения последних лет в России, например, реформой или революцией, а если революцией то насколько революционной, имеет примерно те же параметры, что и простая констатация «стакан наполовину пуст» или «наполовину полон», что вовсе не одно и то же для человека, которому предстоит выпить горькое лекарство, или для выпивохи, ищущего опохмелиться.

Политическая философия и политология относятся к тому разряду дисциплин, язык которых особенно непосредственно погружен в язык политической повседневности и связан с обыденным словоупотреблением в политике. Произнося нечто, политик совершает политическое действие. Произнося нечто нетривиальное, он, скорее всего, пытается совершить политическое действие выдающейся силы. Интерес исследователя другой, хотя в чем-то сходен. «Человек науки» должен произнести нечто нетривиальное, чтобы тем самым совершить действие в познании (или просто в научном сообществе). Такого рода интересы политолога и политика, естественно, различны, но часто действия по реализации этих интересов почти в точности совпадают как по процессу, так и по результату: наука и политика начинают говорить чуть ли не в унисон, хотя каждый имеет в виду свое.

Что признать в этой семантической коллизии первичным: научные дефиниции или лингвистические усилия политики? Возможны ли тут какие-либо приоритеты? Кто кому должен «промыть мозги» и кто кому должен подчиниться в производстве смыслов и в словоупотреблении?

Должен признать, что приоритет здесь приходится отдать смыслам, идущим от практической политики. Если мы здесь и сейчас на самом строгом научно-философском уровне обсуждаем вопрос о степени революционности изменений, происшедших в последние годы в России, нам следует учитывать

прежде всего то понимание революции, которое исходит от власти, когда она *здесь и сейчас* называет этот период революционным. И науке не остается ничего другого, как исходить из семантики своего объекта-собеседника.

Итак, каким образом производятся смыслы понятия «революции» в текущей политике, с одной стороны, и в системе знания, претендующего на бесстрастную и неангажированную научность, с другой? Проще говоря, чего хочет политика, объявляя предыдущий период революционным, и чего хочет теория, настаивая на том же и обосновывая эти свои выводы соответствующими обобщениями, а при необходимости и исправлениями в существующей теории революции? Кроме того, в этом контексте важно было бы понять, почему происходившие трансформации до самого недавнего времени скромно назывались *реформами* (хотя и это в отношении сверхосторожных и половинчатых перемен тогда считалось не вполне скромным) и почему представление о них как о *революции* получает распространение именно теперь. Здесь сразу же проявляются две совершенно разные логики производства смыслов, работающие в системе научного знания, с одной стороны, и в практической политике, с другой.

Логика научного рассуждения в данном случае выглядит примерно следующим образом. В истории изучения предмета есть разные подходы к пониманию революции. Но все они либо частичны, т.е. ограничиваются отдельными признаками, а не их «полным» набором (любимый прием продвижения научного знания — обобщение, выход на все более универсальные концепции и определения); либо, наоборот, включают в качестве критериальных признаков революции признаки необязательные, избыточные (например, систематическое насилие вообще и террор в частности). Исходя из понимания этих недостатков предыдущего знания, новым научным построением, с одной стороны, осуществляется преодоление «односторонности подходов», а с другой — изымаются те признаки, по которым данное явление (в данном случае российская социально-политическая трансформация конца XX в.) в обычную теорию революции не укладывается. Причем эти признаки изымаются на том основании, что в истории есть прецеденты (хотя и доста-

точно маргинальные) революционных преобразований без систематического террора и даже вообще без насилия. Такова логика, а в известном смысле и психология, «научного обобщения», особенно в позитивистски ориентированных «общественных науках»: обобщить и интегрировать уже имеющиеся подходы и встроить свой локальный предмет в это обобщение, даже если для этого потребуются отказаться от некоторых «частностей». Это похоже на типичный пример неревolutionных этапов развития научного знания, когда концептуальное «ядро», вступая в противоречие с фактурой, не разрушается при первых же несоответствиях, но обволакивается «защитным поясом», создаваемым из допущений *ad hoc*².

Как бы там ни было, имеет смысл запомнить различие *«революций»* и *«революционных преобразований»* (пусть хотя бы как чисто лингвистическую возможность, как резерв терминов) и перейти к логике производства смыслов в практической политике, в системе актуализованного и утилитарного политического «знания». При этом важно еще раз сверить общую настройку оптики зрения: когда власть что-то говорит, она тем самым всегда хочет что-то *сделать*. Слово в политике и само является действием, и приоткрывает тактические или стратегические планы, часто выходящие далеко за рамки собственно говоримого.

Итак, вопросы формулируются предельно просто. Чего хотел добиться путинский режим, регулярно педалировавший тему ельцинской революции и якобы совершенного выхода из этой революции? Какие идеологические и социально-психологические эффекты при этом достигаются, что выставляется на первый план и утрируется, а что, наоборот, маскируется? Наконец, какие существующие массовые настроения при этом эксплуатируются и какие подогреваются на будущее? Эти вопросы в нашей политической культуре, то и дело переходящей от хамства к неумной вежливости, могут показаться слишком бесцеремонными. Однако не задавая их с должной прямотой, мы рискуем оказаться в положении человека, полагающего, что смена термина «реформа» на термин «революция» в языке власти вызвана всего лишь стремлением к интеллектуальной корректности и терминологической точности, что вряд ли. Такая смена базовых и по сути дела идеологических понятий решает, как правило, две

основные задачи: установить определенные взаимоотношения с предшествующим периодом и задать самую общую интерпретацию периода начинающегося, уже начавшегося.

Термин «реформа» применительно к ельцинскому периоду с точки зрения идеологических задач путинского правления явно не удачен. Реформа, начатая при Ельцине, не вполне получилась либо получилась заведомо половинчатой. В определенном смысле ее можно считать и реформой прерванной. Новому правлению крайне трудно было безболезненно выстроить свои идеологические взаимоотношения с таким типом исторического процесса: если мы говорим о предыдущем как о реформе, то ее надо либо прекращать, либо продолжать и углублять, либо начинать заново, либо исправлять разного рода искажения, возникшие в ходе ее реализации. Все это неудобно. По отношению к недавно начатой реформе можно самоопределиться только в качестве контрреформатора или нового реформатора (неважно, ее продолжателя или корректировщика). В условиях отсутствия в обществе базового консенсуса обе эти определенности, включая их промежуточные, смягченные варианты, политически невыгодны. К тому же понятие «реформа» накладывает на политическое руководство неординарную ответственность. Включенность в революционный процесс такую ответственность существенно снижает. Реформы *делают*, тогда как в революциях *участвуют*, пусть даже в роли «движущих», «руководящих» и т.п. сил. На настоящий момент почти выдохлось представление о том, что революции совершают исключительно героические революционеры; согласно более свежим версиям, революции в не меньшей степени *совершаются*, предоставляя современникам возможность выбора своей роли в этих плохо контролируемых, иногда почти стихийных процессах. Закрывать или продолжить реформу — дело ответственного выбора. «Выходить» из революции — это как тушить последние очаги пожара, в котором ты не повинен и который всем уже давно надоел. Это выбор, который якобы за тебя сделала сама история.

В этом смысле обобщенная оценка предшествующего периода как революции решает для власти сразу несколько взаимосвязанных проблем.

Во-первых, она устанавливает оптимальные отношения с могучим предшественником, которому ты обязан, но политическое наследие которого на тебя сильно давит. Преемник получает возможность изящно отстраниться от предшественника, при этом особенно его не унижая. Называя свершенное в прежний период революцией, этому периоду, казалось бы, придают оттенок эпохальной величественности. Это не подло и даже уважительно. И в то же время в полную силу начинают работать и те негативные обертона, которые в последнее время сформировались у нас в отношении к разного рода революционности. Теперь революция — это скорее то, что свалилось на нашу голову как историческая кара, с чем не совладала (а возможно, и спровоцировала) предыдущая власть, с чем хорошо бы поскорее покончить и чего хорошо бы в дальнейшем избежать. Это и подвиг, и несчастье, причем с постепенным, но неуклонным перемещением смыслов от подвига к несчастью. Поскольку вопрос о квалификации прошлого периода как революции или реформы (или какой-то более сложной версии) пока еще открыт, мы все более уподобляемся чеховскому Фирсу, который называл несчастьем известные события, связанные с отменой крепостного права в 1861 г.

Таким образом, переместив акцент с реформ на революцию, новая власть достаточно резко дистанцируется от старой, одновременно и отдав ей должное, и сделав это как-то двусмысленно. Поскольку теперь революции трактуются не столько как подвиги или злодеяния революционеров, сколько как стихийные бедствия, подготовленные всем ходом предшествующего развития, это выдает лидерам революционного периода своего рода индульгенцию от новой власти. Но в то же время все они задним числом превращаются чуть ли не в политических изгоев, в людей не по своей воле попавших в водоворот истории, заслуживших одновременно и почтения и сочувствия, и при этом все же выпадающих из той политики, которая входит в нормальное течение жизни. Во-вторых, вписывая себя в фазу «выхода из революции» (и как бы присваивая себе эту роль, политически приватизируя эту приятную во всех отношениях территорию исторического пространства), новая власть заранее окрашивает свои действия позитивом. Становится не так

важно, что означают собой эти действия каждое в отдельности; важно то, что все вместе они вписываются в логику прекращения революционных потрясений и связанной с ними нестабильности. Заодно новое руководство само себе выдает алиби на случай подозрений в предательстве «завоеваний революции», в данном случае свободы. На любые обвинения в попытке узурпации власти всегда остается возможность ответить, обвинив недовольных в том, что они путают контрреволюцию с постреволюционной стабилизацией (не акцентируя при этом, что постреволюционные стабилизации до сих пор обычно как раз и осуществлялись в форме диктатуры). Проще говоря, обвинения в ущемлении свободы опровергаются тем, что это вовсе не разворот политики, а обычное устранение издержек недавней и еще не до конца изжитой революционности.

В-третьих, становясь в позицию завершения революционного процесса, новая власть, по сути, снимает с себя какие-либо обязательства по поводу определенности дальнейшего курса. На вопрос: «Что вы делаете?» следует ответ: «Мы выходим из революции!» А на вопрос: «Что вы намерены делать?» можно отвечать так же многозначительно и так же многозначно: «Стабилизировать общество, как это и положено в послереволюционный период». Поскольку выходить из революции и стабилизировать общество можно как угодно (или, во всяком случае, самыми разными способами), руки остаются развязанными, но при этом политика сохраняет впечатление осмысленности.

В-четвертых, подобного рода историческая квалификация момента (выход из революции) наносит одновременно и актуальный и превентивный удар по политическим оппонентам действующей власти. То, что в результате подобных манипуляций более или менее ортодоксальные коммунисты со своими революционными традициями и символами выпадают из логики исторического процесса на данном его этапе, сейчас не так уж и важно: они выпадают из актуальной политики и без того. Важнее другое. Нынешняя тактическая оппозиция власти в результате таких манипуляций с, казалось бы, самыми обычными словами становится своего рода тормозом, но уже не на пути революции, а на пути ее окончания. В случае же возможного формирования стратегической оппозиции она еще до начала

своей будущей активности превращается в клуб разжигателей новой революции, борющихся с теми, кто еще не успел толком разобраться с революцией предыдущей, только что разразившейся. Иными словами, если Путин во главу угла ставил окончание революции, то любой его противник автоматически записывался в революционеры, неважно, правого или левого толка.

И, наконец, последнее. Идеей «окончания революции» вытесняются крайне неудобные и слишком обязывающие вопросы на будущее:

что новая власть намерена делать в отношении реформ предыдущего периода в практическом отношении?

в какой политической и идеологической позиции она видит себя в отношении к этим реформам?

в какой логике исторического процесса видится новой власти ее преемственность в отношении к этим реформам или, наоборот, их отторжение?

При этом можно планировать мероприятия, вполне укладывающиеся в логику продолжения и даже углубления реформ. Можно делать это вполне широкомасштабно и внутренне взаимосвязанно, почти как осознанную стратегию. Но логика окончания революции занимает место вопроса о продолжении или свертывании реформ. Подобно кукушонку, она вытесняет этот вопрос из нашего общего идеологического «гнезда». Тем самым она оставляет для власти запасной выход: всего этого «либерального» можно и не делать. Согласно этой логике все либеральные мероприятия, строго говоря, совершенно необязательны. Они являются результатом сугубо тактического выбора новой власти и в любой момент могут быть свернуты без последствий идеологического характера, а значит, и с наименьшими политическими осложнениями. Не получится — будем «выходить из революции» любым другим способом, хотя бы и прямо противоположным. Главное — «выйти», а там хоть трава не расти. По этой логике уже само окончание революции должно стать исторической заслугой нового правления (по крайней мере, на первоначальном этапе).

Во всех этих неоднозначных, заведомо двойственных действиях, тем не менее, проступает более или менее заметная интегральная составляющая. Главная задача для новой влас-

ти — не обозначить преемственность со старой, но тактично подчеркнуть политический разрыв этой преемственности. Делается это достаточно тонкими (хотя и не всегда осознаваемыми) методами. Новая власть не утверждает ничего особенного другого, в сравнении с предыдущей. Тем более она старается не утверждать ничего противоположного. Она часто говорит почти то же самое, что и до нее. Но при этом она постепенно и как бы незаметно *меняет язык*. У нее явно есть свои тематические новеллы, но дело даже не в них. Дело скорее в тех эпизодах, в которых власть говорит то же, что и прежде, но *немного другими словами*. И тем самым незаметно меняет сначала смысловые оттенки, а затем и сами смыслы говоримого. Важными становятся прежде всего те оттенки смысла в термине «революция», которые имеют отрицательный, раздражающий характер. Замена ключевого слова «реформа» на еще более ключевое слово «революция» именно этого эффекта и достигает.

С этой точки зрения на первый план выступают следующие общепонятные качества революционного процесса («революции», «революционности», наконец, «революционаризма»):

нарушение обычной государственно-политической легальности и смена легитимности власти, как ее конкретного представителя, так и самих способов удостоверения этой легитимности;

разрыв постепенности развития и чрезмерный радикализм действий;

антагонистические противостояния, вызывающие необходимость насилия вплоть до террора; усиление спонтанности вплоть до анархии;

усугубление тех народных бедствований, которыми революционный процесс был если не вызван, то, во всяком случае поддержан, и т.д.

Все это — именно то, чем революции за последнее время перестали нам нравиться. Это те самые качества, предъявляя которые нас отучали (и-таки отучили!) любить революции. Это как раз те самые оттенки смысла, которые сменили в нашем сознании благоухающую «революционность» на дурно пахнущий «революционаризм».

Представления о сугубой революционности преобразований горбачевского и в особенности ельцинского периода несколько преувеличены и, во всяком случае, могут быть поставлены под сомнение с точки зрения их соответствия классическим прототипам из всеобщей революционной истории. Точнее, они в этом отношении каким-то странным образом раздваиваются: они, несомненно, революционны, но в то же время, по целому ряду крайне важных, может быть, даже критериальных параметров они не дотягивают не только до стандартной революции, но даже до реформы, которую можно было бы без серьезных оговорок назвать радикальной или хотя бы относительно законченной. И дело даже не в формальном соответствии стандартам революции (которые, естественно, можно задавать по-разному), а в тех смыслах революционности, которые выступают на первый план именно здесь и сейчас, в России, выстраивающей свои политико-идеологические взаимоотношения с эпохой горбачевско-ельцинских преобразований.

Из наиболее значимых групп аргументов можно выделить следующие.

Масштаб изменений, сдвиг. Горбачевско-ельцинский исторический переход необходимо считать революционным уже на том основании, что здесь произошли фундаментальные, глубинные изменения. В мировой истории подобные изменения соразмерны тем, что имели место в наиболее выпуклых примерах революций: Английской революции середины XVII в. (Кромвель, Карл II и др.), Великой Французской революции конца XVIII – начала XIX в., революции в России начала XX в. (которую с некоторых пор почему-то перестали называть Великой Октябрьской и даже социалистической). Более того, происшедшее и происходящее сейчас в России в этом плане нередко – и не без оснований – сравнивают со сменой геологических эпох и даже с «тектоническим сдвигом» (аналогии, которыми во время советской власти так помпезно украшали Великий Октябрь). Разница лишь в том, что в той стандартной картине истории, которая становится или уже стала доминирующей в России и которая теперь уже почти автоматически воспроизводится в общественном сознании, всякий «сдвиг» видится не столько как решительный прорыв вперед, к ослепитель-

но свободному будущему, сколько как прямой образ землетрясения: когда сдвигаются основания и глубинные пласты, рушится все, что было на них построено. Теперь «тектонический сдвиг» это не скачок человечества в царство свободы, а крайне неприятная ситуация, когда «земля уходит из-под ног». И следующим поколениям приходится долго расплачиваться за «счастье» исторической авантюры, выпавшей на долю их родителей, за революционные излишества их дедов и отцов. Им приходится восстанавливать и заново отстраивать то, что было порушено в дрожании исторической почвы и в метаниях людей, пытавшихся в этом катаклизме либо спастись, либо возвыситься.

Схема. Далее: горбачевско-ельцинский эпизод производит впечатление полноценной, почти стандартной революции, поскольку в соответствующих описаниях он почти в точности воспроизводит классические революционные фазы:

мимолетный «медовый месяц» — период, наступающий после первой победы революционного натиска в условиях всеобщего единства, когда в обществе складывается консенсус относительно необходимости предстоящих (либо еще только начинающихся) преобразований, их общей направленности, характера и т.д.;

власть «умеренных», реализующих идеологический проект, который вызрел в недрах агонизирующего режима, но уже вынужденных балансировать между радикальными и консервативными коалициями;

власть «радикалов», до основания обрушивающих старую систему, а затем закладывающих основы новой, несмотря на продолжающийся распад прореволюционных коалиций и ослабление прореволюционных институтов власти, вплоть до ситуаций классического (хотя иногда и несколько скрытого либо потенциального) двоевластия;

«термидор» — резкое понижение «революционной кривой» или даже контрреволюционный переворот, не отменяющий для слабой власти необходимости балансирования между разными, противоположными агентами про- и антиреволюционной политики, что, собственно, и получило имя «бонапартизма» (который у нас, после массового забвения марксистско-ленинской теории, был торжественно назван центризмом);

и наконец, фаза «постреволюционной стабилизации», которая может длиться неопределенно долго, иногда десятилетия, и обычно выливается в банальную послереволюционную диктатуру.

Надо отметить, что в этом подходе в заранее заданную схему революции укладывается не просто сама периодизация, но и соответствующая ей динамика массовых настроений, изменений в раскладе политических сил, про- и контрреволюционных коалиций и т.д. Весь этот анализ сначала опирается на анатомию революции по Бринтону, а потом дополняется вполне серьезной и во многом успешной попыткой оживить предмет, исследуя его физиологию (причины чередования фаз и совпадения их особенностей в разные времена и в разных обстоятельствах). Но по жесткости схемы этот анализ иногда напоминает даже не анатомию, а констатацию схожести скелетов.

Из критериальных признаков Бринтоном выделяются следующие основные: 1) системные изменения, 2) происходящие во многом стихийно, 3) в условиях слабой власти, резко ослабленного государства.

Попробуем более внимательно разобраться в этой анатомии, начав с эпохальности происшедшего сдвига.

Действительно, нет никаких оснований ставить под сомнение «всемирно-историческое значение» происшедших перемен. Правда, можно поставить под некоторое сомнение их глубоко системный характер. Однако при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что до некоторой степени половинчатыми были и другие революции. Здесь важнее начать с другого. Когда мы говорим о фундаментальных изменениях, это вовсе не означает автоматически, что сам процесс этих изменений является революцией. Более того, я готов даже допустить, что *революционные изменения* не обязательно могут проходить в форме собственно *революций*. Могут быть процессы примерно такого же исторического формата, как революции, с такими же или даже еще более впечатляющими итоговыми изменениями, и в то же время протекающие не в форме революций как таковых. Если представить себе XX в. в России со всеми его эпохальными сдвигами, то в своих «сферах компетенции» рубеж между сталинизмом и послесталинским режимом окажется

ничуть не менее значимым, чем многие другие поворотные точки в истории России — СССР, включая деяния Горбачева, а во многом и Ельцина. На поверхности видимой, знаковой политики, идеологии, макроэкономики и т.п. это не стало переломом, но в логике телесности и изменения структур повседневности этот рубеж обозначил очевидно революционные изменения, состоявшиеся, однако, не в форме революции. Сталинизм и посттоталитарный период — это две принципиально разные Советские России, в которых смерть и физическое ограничение свободы играли совершенно разную роль. Это может не так много значить для обычной политологии, но это значило все для бренного и страдающего человеческого тела. По большому счету, тех «физиологических» изменений не стоят все нынешние банки, обращения валют, нормализованные выезды за границу и даже свободы слова и цен.

Таким образом, революционные изменения (считающиеся таковыми исключительно по причине своей сугубой фундаментальности, из-за их масштабов и глубины) вовсе не обязательно проходят в форме революций.

Что касается совпадения схем, повторов фаз и стандартной периодизации, то и здесь намечаются странности принципиального характера. Вот как описывает «медовый месяц» революции сам К. Бринтон в книге «Анатомия революции» (1990 г., текст приводится в переводе из «Великих революций», авторы которых не смогли не процитировать этот фрагмент из-за его яркости, что с их стороны несколько неосторожно): «...Партия революции победила. Мутные воды сомнений, дебатов и агитации мгновенно очищаются. Революция, едва начавшись, кажется завершенной. В Англии после того, как Долгий парламент избавился от Стратфорда и вырвал уступки у короля; в Америке после Конкорда и Банкер Хилла, этой величайшей моральной победы; во Франции после падения Бастилии; в России после отречения царя — наступает короткий период радости и надежд, иллюзорный, но восхитительный медовый месяц этой несовместимой пары, Реального и Идеального»³. За «медовым месяцем» по стандартной схеме революции должна последовать власть умеренных, т.е. Горбачева, что и фиксируется в нашей модели. Однако данное Бринтоном описание

«медового месяца» гораздо больше напоминает эйфорию демократического переворота после победы над ГКЧП, длившуюся примерно до развала СССР и начала радикальных реформ. «Партия революции победила!» — это, конечно же, Ельцин на балконе Белого дома, в бронежилете, с Бурбулисом и гигантским триколором. Но Горбачев?.. Такого эпизода даже на старте горбачевской политики не припоминается при всем желании. «Революция, едва начавшись, кажется завершённой...» Кому начало робких политических и идеологических поползновений эпохи раннего Горбачева казалось тогда «революцией», а тем более революцией «завершившейся»? Тем большей натяжкой выглядит параллель между первыми шагами Горбачева и падением монархии в начале 1917-го. Это опять же к вопросу о революционности.

«Власть умеренных», т.е. собственно горбачевские преобразования, и в самом деле укладывается в общую схему революционной анатомии достаточно убедительно, но в основном с точки зрения динамики размежеваний и противостояний, складывания и распада разного рода политических коалиций. Действительно, «всеобщее единство» политических сил на первоначальном этапе довольно быстро распадается, а в итоге сменяется фрагментацией интересов, позиций и т.д., вплоть до жесткой конфронтации радикалов и консерваторов (которая в истории разрешается победой либо «партии конца революции», либо партией ее «радикализации»). Однако и здесь есть немало сомнительных моментов, затрагивающих не просто безукоризненную «чистоту» схемы, но и сами ее основы.

В первую очередь имеет смысл рассмотреть особенности условий формирования того «всеобщего единства», которое, действительно, проявлялось в начале горбачевского периода в идейно-политической сфере и выражалось в идеале «обновленного социализма». Важно понять, на чем это единство изначально основывалось, — тогда можно будет более содержательно взглянуть на причины его распада.

Видимость эйфории по поводу соединения всего лучшего из старого и нового в обществе массовых коммуникаций и столь же массовой цензуры во многом создавалась подавленностью более радикальных точек зрения в информационном и в орга-

низационно-политическом плане. Соответственно, возникает вопрос: чем была вызвана дальнейшая фрагментация политического поля? Только лишь дроблением интересов различных социальных групп — или же еще и постепенным открытием возможностей для публичного предъявления иных позиций, включения их в актуальную политику? Есть немало оснований считать, что как раз на этом этапе дробление позиций и разного рода размежевания в меньшей степени обуславливались прагматикой интересов, но в большей — открытием политико-идеологических «запасников» и «шлюзов».

Это относится и к обычной в революциях смене единства, основанного исключительно на отрицании старого режима, конкуренцией разного рода проектов его преобразования, окрашенных групповыми предпочтениями. Есть весьма существенная разница между новой, вновь формирующейся политико-идеологической прагматикой и теми идейными конструкциями, которые новы не в силу появления новых групп интересов, а в силу простого приоткрытия «клапанов публичности». Одно дело, когда кто-то усмотрел в новой ситуации возможность решить свои житейские частные проблемы, а совсем другое, когда составляющие нового размежевания просто-напросто вышли из подполья.

Что касается так называемой радикальной фазы (совпадающей, как и следовало ожидать, с премьерством Гайдара, в особенности с его стартовыми реформациями), то и здесь все оказывается достаточно относительным, а признаки классической революционности — слишком фрагментарными и размытыми.

Начнем с того, что по стандартной модели революции радикалы являются таковыми не только по идеологии, но и потому, что попадают в гораздо более острую ситуацию, чем умеренные. В истории это выглядит как необходимость борьбы с внутренней и внешней контрреволюцией. Но радикалы, в отличие от умеренных, с этими ожесточенными противостояниями так или иначе справляются. «...Сами радикалы более других приспособлены действовать в условиях разобщенности общественных интересов. Они используют комплекс мер, насильственно стягивающих общество в единое целое, что позволяет им удерживаться у власти»⁴.

Серьезный удар по этой схеме сразу наносит уже одно отсутствие в нашем случае внешней контрреволюции. Вернее, даже не просто ее отсутствие, а нечто прямо противоположное — присутствие мощного, интегрированного, крайне влиятельного, на огромном пространстве (если не сказать в мире) просто-таки доминирующего «мирового цивилизованного сообщества», которое в данном случае оказывало нашим преобразованиям поддержку — моральную, политическую, дипломатическую, организационную, гуманитарную, финансовую и т.п. Можно спорить о том, насколько эта поддержка была бескорыстной и эффективной, однако нельзя отрицать того факта, что наличие этой поддержки было одним из мощнейших факторов, действовавших против любых поползновений революционизировать ситуацию в России. Одно дело — революция в условиях внешней агрессии, как это было во Франции конца XVIII в., или контрреволюционной интервенции, как это было в России в начале века двадцатого, и совсем другое — преобразования, поддерживаемые «всемирным». Наши события проходили не в условиях внешнеполитического урагана, а в мягком климате заинтересованного одобрения мировой общественностью (во всяком случае, той его части, которая о нас информирована и многое в этом мире может). И уже поэтому они имели гораздо больше возможностей избежать широкомасштабных революционных срывов во внутренней политике. В мягком внешнеполитическом климате и сами преобразования обычно бывают существенно более мягкими, чем в условиях противостояния с внешним врагом, а тем более с внешним миром. Если говорить о внешнеполитическом, мировом контексте, то в нашем случае преобразования проходили просто в тепличных условиях.

В значительной степени это относится и к «внутренней контрреволюции». Контрреволюционеры, противостоявшие Горбачеву и в итоге едва не отстранившие от должности всенародно избранного президента СССР и своего же генерального секретаря, были ничуть не менее контрреволюционными фигурами, нежели те, кто противостоял связке Ельцин—Гайдар в период наиболее активных мероприятий «шоковой терапии». Скорее наоборот, наши «радикалы» довольно долго работали в относительно щадящих политических условиях. Компартия еще

только выходила из подполья после ельцинских запретов и шока, вызванного причастностью к путчу. Давление корпуса «красных директоров», сгруппировавшихся вокруг «Гражданского союза», было пугающим, но уж заведомо не революционным и не контрреволюционным; скорее это была попытка умеренных так же умеренно и такими же умеренными средствами внедриться во власть на стадии большого дележа. Кроме того, бесконечные разговоры о влиятельности этой политической группировки среди директората, в Верховном Совете и т.п. были почти откровенным блефом, и об этом в команде Ельцина знали.

И, наконец, главное — политическая составляющая нашего «радикализма». В какой-то момент авторам «Великих революций» приходит пора представлять одну из своих любимых (и во многом очень верных) мыслей о том, что радикалы в идеологическом отношении являются гораздо менее твердолобыми догматиками, чем умеренные. Тут они расслабляются и незаметно подкладывают мину под соседние основания своей же конструкции. «...Поэтому нет ничего более далекого от истины, чем широко распространенное представление о радикалах как о твердолобых догматиках, огнем и мечом насаждающих собственные, оторванные от реальности идеи. Достаточно жесткая система идеологических норм, действительно проповедуемых радикалами, на практике не становится внутренним ограничителем действий властей. Идеология радикалов — это в первую очередь “внешняя идеология”, поскольку служит средством не для внутреннего (внутрипартийного) применения, а как инструмент воздействия на общество. Навязывание обществу идеологических догм (которые, кстати, в целом всегда находятся в русле общественных настроений) является одним из важных рычагов насильственного обеспечения его единства»⁵. Ясно, что нет ничего более далекого от истины, чем подобные аналогии с нашей «радикальной» фазой. Все, что здесь написано — ровно не про Ельцина в пору его торжества, а скорее наоборот. Навязывание идеологических догм в целях насильственного обеспечения единства — это нечто прямо противоположное тому, что имело место в России на всем протяжении нынешних преобразований. А с этим «идеологическим планом» автоматически отпадает и целый пласт нашего так называемо-

го радикализма. Скорее наоборот, более мирного, податливого, даже беспомощного в идеологическом отношении режима давно не было не только в периоды революций или скольконибудь серьезных реформ, но и на самых стабильных, в самых умиротворенных отрезках прозябания человечества.

Далее линия «насильственного стягивания общества» радикалами продолжается следующим образом: «Другим подобным методом выступает прямое политическое насилие, которое на радикальном этапе нередко принимает форму революционного террора. Радикалы отказываются от дискредитировавших себя демократических институтов умеренных и готовы использовать диктаторские, силовые методы поддержания единства общества, причем не от случая к случаю, а как постоянно действующую систему. Устрашение инакомыслящих становится одним из важнейших инструментов укрепления радикальной власти»⁶. Это — еще одно на глазах проваливающееся основание мифа о российском «радикализме» конца XX в. Достаточно вспомнить демократические институты наших умеренных (эпохи Горбачева) и сравнить их с соответствующими демократическими институтами эпохи Ельцина—Гайдара, чтобы вектор политической эволюции сменился на противоположный. Даже такой институт государственной власти, как Съезд народных депутатов, сменивший масштаб СССР на РСФСР и как бы перешедший в своем политическом качестве от Горбачева к Хасбулатову, ни в коей мере не эволюционировал в обратную сторону, а скорее наоборот, захлебнулся именно в разгуле представительской «демократии» и чуть было не утопил ее же ростки. Это могло с равным успехом произойти как в случае победы парламента, которая обернулась бы, конечно же, не демократией и стандартной парламентской диктатурой времен Кромвеля, так и в случае, если бы победившая исполнительная (президентская) власть в полной мере воспользовалась неудачной провокацией противника и ввела бы ту диктатуру, которая, собственно, и подбавляет власти радикалов.

Правда, здесь возможен несколько иной, более тонкий подход к проблеме политического радикализма ельцинско-гайдаровского периода. Можно считать, что стандартная схема отказа от демократии умеренных и применение прямого насилия все же имели здесь место, но в принципиально другом графиче-

ке. Как ни пытался Ельцин избежать применения насильственных методов, все же в конце концов и эта судьба его не миновала. Насилие не просто долгое время отсутствовало, а потом «вдруг случилось». Оно все это время как бы собиралось, копилось как потенция, а потом оказалось сконцентрированным в одной точке — в артподготовке по Белому дому в октябре 1993 г. Тем самым, можно полагать, что насилие все это время потенциально присутствовало, но до поры сдерживалось, пока не выплеснулось с силой, накопленной за все время искусственно сдерживания силовых действий. Можно даже предположить, что если бы Ельцин имел желание и (или) возможность применить систематическое насилие во время своих относительно радикальных реформ, это исключило бы последующие баталии с использованием танковых орудий с президентской стороны и с призывами к авиации — со стороны парламентской. Более того, существует устойчивое мнение (в том числе среди бывших ближайших помощников Ельцина), что для предотвращения этих катаклизмов тогдашнему президенту достаточно было в свое время проявлять больше решимости и меньше вязнуть в безнадежных, явно сиюминутных компромиссах.

Эта схема «распределения насилия во времени» во многом справедлива, но только не в качестве подтверждения стандартной логики революционного процесса.

Во-первых, собственно радикальная фаза (если о таковой вообще можно говорить в строгом смысле слова) прошла у нас вообще без насилия, а концентрированный его выброс случился на стадии, которая по стандартной схеме революционного процесса должна относиться скорее к периоду термидора. Более или менее активная стадия экономических реформ была приостановлена еще при Гайдаре. Более того, самого Гайдара Ельцину пришлось «сдать» еще до начала силового конфликта. Если иметь в виду реальные размерности того времени — срок премьерства Гайдара и интервал между его снятием и выпуском Указа 1400, — можно с полным основанием говорить о том, что в новейшем российском варианте радикальная фаза окончилось задолго до силового столкновения, которое можно было бы трактовать как концентрированный выплеск «отложенного» политического радикализма. Страна уже успела пожить при Черномырдине, ко-

торого по всем правилам «анатомии революций» пытаются записать в фазу термидора. Она уже успела пожить при Чернобырдине, который на тот момент был настолько нерадикален, что не последовал за Ельциным, демонстративно покинувшем VIII съезд и даже остался благодарить депутатов за предоставление правительству права законодательной инициативы.

Во-вторых, столкновение исполнительной и законодательной ветвей власти в октябре 1993 г. по стандартным схемам скорее подходит под описание совершенно другого момента — конца власти умеренных, после чего по теории еще только должен начаться переход к радикальной фазе революции. «Друг другу противостоят два враждебных, диаметрально противоположных лагеря, компромисс между которыми становится все менее возможным. Именно результаты столкновения между этими двумя лагерями и определяют дальнейший ход революции. Победа радикалов означает переход революции на новую фазу»⁷. Это не преддверие термидора, когда оформляются новые конфигурации интересов и политических сил, меняющие ход процесса. Это именно исторические антагонисты. Хасбулатов и Руцкой, при всей шумливой активности этих фигур и даже с учетом реального ведения интриги бывшим спикером, в действительности не были самостоятельными игроками. Хасбулатов виртуозно манипулировал Съездом, этим «сельским сходом» (по выражению Б.А.Грушина), но он явно (точнее говоря, объективно) играл на руку радикально левых, которые его и рассматривали как таран, который должен проломить стену ельцинской обороны, сломав себе при этом голову и уступив место единственно организованной оппозиционной силе — КПРФ. То же в отношении Руцкого: он мог остаться блестящим военным аксельбантом на фасаде новой власти, но реальных управленческих полномочий ему бы не дали. Если бы в том противостоянии победил Парламент, он сделал бы это не ради того, чтобы сменить многовластного президента Ельцина на почти всевластного президента Руцкого. Если бы генерала не оттерли вовсе, из него бы сделали английскую королеву с бородой и в погонах.

Еще раз необходимо подчеркнуть: все эти, казалось бы, мелкие и формальные несоответствия ельцинского правления стандартной схеме революции на самом деле являются момен-

тами принципиальными. Это не то, чем можно пожертвовать ради сохранения классической схемы и подведения под нее допутинского периода как революционного. Говоря о ельцинском периоде, я старался показать, что эти отличия от стандартной схемы революции содержат в себе как раз то, что нам было наиболее важно по жизни. Отсутствие радикального и выраженного насилия, принципиальные ограничения на радикализм преобразований, смещение ключевых стадий процесса — все это как раз и определяет данный этап, является его базовыми характеристиками, а вовсе не отдельными обертонами, которыми можно пренебречь. И вместе с тем — несомненные признаки подлинной революционности, о которых также детально говорилось выше.

Вводя термин «революция» применительно к ельцинскому периоду, новая власть решает свои частные политические и идеологические проблемы. Мы действительно хотим в этом участвовать и в этом новой политике потрафлять? (Причем даже не столько самой власти, сколько ее идеологической службе.) Или мы считаем политически правильным выстраивать существенно иные схемы взаимоотношений между ельцинским и путинским периодами, а потому не можем удовольствоваться такими косметическими способами подведения ельцинских реформ под стандартную схему революции?

Я полагаю, что ельцинский период не был настолько революционным, чтобы на последующее правление можно было молиться только за то, что оно выводит страну из революции. В локальном времени политически правильнее было бы назвать предыдущий период незавершенной реформой и вменить новому правлению доделывание этой реформы. При таком подходе все стабилизационные прелести нового периода блекнут, и на первый план выходят критерии **динамики** процесса дальнейших преобразований. Или хотя бы систематического устранения ошибок. Уже сейчас видно, что идеология «выхода из революции» быстро выдохлась политически и даже чисто пропагандистски и на первый план опять выплыли старые и простые вопросы: экономика стоит; целые системы жизнеобеспечения из тех, к которым было страшно даже прикасаться, так и не тронуты; болезни новой системы, такие как «рыночная бю-

рократизация», административная спутанность, коррупция и т.д., не лечатся, а то и усугубляются. И оттого, что страна якобы выходит из революции, не перестают лопаться трубы, замерзать города, исчезать бюджетные деньги... И тогда выясняется, что все это не издержки революционного процесса, заведомо преходящие и снимающиеся переходом процесса в нормальное русло, а системные свойства, болезни самой системы — как новой, так и недоразрушенной, а тем более их заведомо нежизнеспособного сростка. Это все имеет место не оттого, что у нас, например, временно, на период революции вдруг категорически ослабло государство, а оттого, что у нас уже именно такое, так недоразложившееся и так вновь сложившееся государство, и что его простое «укрепление» будет только усугублять все эти болезни.

В то же время многое в этой реальности сопротивляется тому, чтобы ограничиться термином «реформа» и никак при этом не учесть действительно революционный характер происшедших и происходящих в России изменений с точки зрения их масштаба и глубины. Возникает внутренне противоречивая, парадоксальная ситуация: мы в одно и то же время и гипертрофируем... и недооцениваем революционность недавнего процесса, его ближайшего продолжения. Говоря о революции (что справедливо, но отчасти), мы смазываем некоторые эволюционные особенности процесса, являющиеся для него во многом определяющими, и подталкиваем власть к тому, чтобы несколько осадить назад, вместо того чтобы двигаться вперед. Говоря о половинчатой реформе (что тоже справедливо, и тоже отчасти), мы, наоборот, явно занижаем исторический статус случившегося и создаем в обществе иллюзии, будто издержки процесса связаны исключительно с технической, управленческой стороной дела, но не с обязательными свойствами революционных процессов.

Здесь опять всплывает одно достаточно тонкое терминологическое различие, о котором говорилось выше. *Революция и революционные изменения* — не одно и то же. Революционные изменения — это содержательный план, суть процесса, революция — его форма. И одно с другим не связано каким-либо однозначным соответствием. Точнее, может быть не связано. Может быть

революция, не приведшая к революционным изменениям. Могут быть революционные изменения, обошедшиеся без революции. Это теоретически. В жизни, конечно, все упирается в градации, в меру сочетания одного и другого. И тем не менее эти вещи лучше сразу разводить или хотя бы не отождествлять.

Однако в нашем случае, в понимании процессов, разворачивающихся в России на рубеже XX и XXI вв., это приходится одновременно и разводить и сводить. Мы явно имеем революционные по глубине преобразования, состоявшиеся не в форме революции. Или, говоря осторожнее и более развернуто: мы имеем преобразования, революционные по глубине и вместе с тем во многом половинчатые; и мы имеем те же самые преобразования, происходящие в форме процесса с элементами революционности, но и с отсутствием некоторых важных, критерияльных признаков полноценно революционного процесса, причем именно таких признаков, которые и являются критически важными для России с ее достаточно бурной, а то и просто кровавой исторической традицией. С точки зрения прежней власти это был бунт, но этот бунт был далеко не самым бессмысленным и уж вовсе не беспощадным, даже без люстрации. Мы совершили скачок из одной формации в другую с минимальным, небывалым, почти нереалистичным числом и масштабом потрясений. И вместе с тем это оказалось возможным отчасти именно из-за половинчатого, иногда откровенно смазанного характера преобразований. Полуреволюционные преобразования в полуреволюционной форме.

В принципе можно было бы удовлетвориться этой или какой-нибудь сходной формулировкой и свести все к вопросам количества, меры, к простому смещению, с одной стороны, элементов половинчатой реформы, а с другой — революционных преобразований с характеристиками процесса, в котором были элементы и революции и простой реформы, в котором в ходе более или менее плановых реформ проходили изменения похлеще любых революций, но и в котором даже революционное отчасти было каким-то ненастоящим, иногда просто театральным. Дамы с детскими колясками, с Новоарбатского моста наблюдавшими пальбу по Белому дому едва ли не в лорнеты, могут служить одним из главных символов этой «революции»,

а главное — обозначением некоторой глубинной сценичности процесса, когда все происходило и очень всерьез, и вместе с тем как бы понарошку, не по-настоящему, в виде игры, в итоге которой мало кто верит, и только потом вдруг приходит понимание того, что все уже состоялось, что власть и собственность поделены, что сумасшедшие, заведомо провальные затеи дали реальный результат и возымели необратимые последствия, неважно, плохие или хорошие. Обычно сны кажутся явью, а потом, проснувшись в холодном поту, с облегчением обнаруживаешь, что это только сон. Здесь же наоборот: нам казалось, что такое может разве что присниться, и мы разглядывали происходящее в робкой уверенности, что это только до утра, до первого пробуждения; а потом вдруг обнаружилось, что все это настоящее, всерьез и надолго, что хождение по смертельно опасным карнизам нам не снилось, а было реальным, как у лунатиков, и что выиграла как раз те, кто не спал, кто воспринимал происходящее как жизнь и кто успел вовремя перебежать из сонного зрительного зала на сцену истории.

Я подозреваю, что вопрос о революционности и нереволуционности данного процесса — это вопрос даже не его параметров, а его сути, не количества «революционности», а качественных определений. Мне кажется, что эта инновация глубже и имеет категориальный характер. Во всяком случае, мы должны быть готовы хотя бы обсуждать вопрос о возникновении **принципиально нового типа исторического перехода**, для которого привычных нам терминов «революция» и «эволюция» оказывается уже недостаточно.

Из всего вышеизложенного напрашивается название такого типа переходов: **ре-эволюция** (или проще *реэволюция*, хотя дефис избавляет от иллюзии опечатки). Это не полуреволюция, разбавленная элементами простой реформы, и не полуреформа (как в смысле ее половинчатости, так и в смысле ее близости к масштабам и глубине собственно революционных преобразований). Это нечто особое или, по крайней мере, нуждающееся в том, чтобы его всерьез проверили на особость.

Самое малое, что дает предлагаемый неологизм — отражение принципиальной двойственности процесса, смещения в нем эволюционных и революционных моментов до такого уров-

ня, когда определяющим, критериальным становится уже не градация в соотношении одного и другого, а именно сам факт такого смешения. По аналогии: элементы эклектичности могут быть в самых разных стилях, но в какой-то момент эклектика становится самостоятельным стилем, в котором определяющим моментом становится уже не столько то, что вступает в стилевой обмен, сколько сама установка на эклектичность.

Уже самой своей этимологией слово ре-эволюция выводит не на простое смешение одного и другого (что-то вроде среднего арифметического между революцией и эволюцией), но на принципиально другое понимание исторических масштабов и координат, в которых занимающие нас процессы и события рассматриваются, должны рассматриваться. Ведь одно дело, когда меняется то, что меняется в локальных исторических масштабах данной революцией или эволюционной реформой, а совсем другое, когда мы в целом выходим из эпохи революций и оказываемся в новом историческом периоде, в котором даже самые радикальные, тектонические изменения происходят, могут происходить в каких-то иных, не собственно революционных формах. Приставка «ре» в данном случае не просто часть одного из слов, из которых строится неологизм («-волюция», которая наполовину «ре-», а наполовину «э-»), но указание на *возврат от одного к другому, от революции к эволюции*. Причем **макроисторический** возврат. И одновременно это предмет метаисторического анализа. Само это слово пришло в историческую науку и в политику из астрономии, где оно означает возвращение планет «на круги своя». В этом смысле ре-эволюция — не просто воинствующее смешение элементов революции и эволюции, но исторический возврат из длительной, затяжной революционной ажиотации в эволюционный режим. По смыслу это что-то близкое реинкарнации, реабилитации, реставрации и т.п., вплоть до реинвестирования или рефинансирования. Мы отрезаем приставку «ре» и придаем ей тем самым вышеупомянутый астрономический смысл. Ре-эволюция — это отчасти революционный, отчасти эволюционный процесс, но процесс, содержанием которого является глобальный возврат от революции к эволюции, переход к осуществлению революционных изменений в неревolutionционной форме.

Этот возврат имеет сложную структуру. Прежде всего, мы имеем дело с изменениями системного характера в самой **материи** социума — в экономике, политике, государственности, социальных отношениях и т.д. В нашем случае, т.е. в ходе Великой российской ре-эволюции конца XX — начала XXI в., мы освобождаемся от порождений Революции (1917 г.), включая все ее дальнейшие мутации, такие как сталинизм, оттепель, застой и предсмертный кризис порожденного Революцией режима. Отдельный разговор: можно ли считать весь этот так называемый советский период столь тесно привязанным к Революции 1917 г., что он выделяется в отдельный исторический блок и завершается в некотором смысле не новой революцией, вновь потрясшей общество после десятилетий «нормального» эволюционного прозябания, а надолго отложенной контрреволюцией. Возражения известны, их смысл в том, что Великая Октябрьская социалистическая революция сама по себе, а советский период — во многом, если не в главном, сам по себе, но, думаю, это не совсем так, и об этом позже. Пока важно отметить лишь, что сейчас в России системно и целенаправленно восстанавливается многое из того, что было Революцией подавлено или даже искоренено. Отчасти мы восстанавливаем старый дореволюционный российский тренд (а не просто входим в современную и якобы цивилизованную рыночную семью), и этого возврата не надо стесняться, даже учитывая вынужденное почти вековое запоздание.

Далее, мы возвращаемся из революционной эпохи в эволюционную в **идеологическом** отношении: в сфере ценностей, идеалов, политических знаков и икон революция как таковая сначала резко девальвируется, а затем превращается в антиценность, в символ всего отклоняющегося, опасного, чреватого и мгновенными издержками, и долгими последствиями негативного характера.

И, наконец, мы вступаем в новый исторический период, в котором уже сами установки **постсовременности** диктуют понимание новой ценности всего прошлого и чувство повышенной осторожности ко всему однозначно прогрессистскому, а тем более революционному. С увяданием прогрессизма — когда-то главного пафоса западной цивилизации — под вопросом ока-

зываются уже не только разного рода рывки «вперед», но и сама безапелляционность позитивных оценок этой устремленности «в будущее». Здесь работают измерения уже не политики, но цивилизации. Если раньше революции воспринимались как прорывы цивилизации, то теперь они сами в качестве формы исторического движения воспринимаются как дикость.

Таким образом, мы выходим на представление о специфическом характере того, что произошло в России на рубеже веков (как о *ре-эволюции*), уже не только на основе частных, индивидуальных характеристик этого события-процесса, но с учетом макроисторического контекста. Мы говорим о новом, особом типе исторических переходов не потому (не только потому), что эмпирически наблюдаем такое на новейшем российском материале, а потому что появление такого нового типа исторических переходов логично вытекает из более общих характеристик ситуации, во многом меняющей течение исторического процесса в целом, по-другому выстраивающей взаимоотношения старого и нового, прошлого, настоящего и будущего, по-своему устанавливающей конфигурацию векторов развития (вперед, в обратную сторону, в боковые ответвления), соотношение исторических темпоритмов (быстрых и медленных, коротких и длинных волн). Я бы даже рискнул предположить, что идею ре-эволюции как нового типа исторического перехода проще теоретически вывести из логики замещения модерна постмодерном, чем из эмпирии российских событий рубежа XX–XXI вв.

Здесь необходимо более подробно разобраться с исторической размерностью событий и процессов советского и постсоветского периодов в России.

На этот счет существуют два противоположных подхода. Первый подход рассматривает советский период в целом как аномалию, как вывих «нормального» развития, примером которого является в основном Запад, а с ним и его восточные последователи — Япония, «тигрята», а теперь уже, видно, и Китай. Второй подход, вполне в духе новейших (точнее, новых, идущих еще от структурализма) представлений, отказывается от описания советской реальности как отклонения от нормы и рассматривает, пытается рассматривать эту реальность как живущую по сво-

им собственным меркам и правилам, требующую понимания «из себя», а не из какого-либо отвергнутого или несостоявшегося «другого». Первый подход гласит: в советской модели все «ненормально» и она вполне понимаема как несостоявшийся Запад, например, как неслучившийся капитализм. Вторым подходом утверждает: нормы вообще зыбки и подвижны, относительноны и изменчивы, поэтому вещи (например, социумы) надо пытаться понимать из их имманентности, подобно тому как структуралистская этнология изучает примитивные общества и культуры. Первый подход задает норму и критикует остальное как временную и временную девиацию (не стесняясь при этом менять сами образцы нормализации: сначала коммунизм, опустивший все ему предстоявшее до уровня пролегоменов к «подлинно человеческой истории»; затем его критики, нередко те же самые лица, поменявшие норму и девиацию местами). Вторым подходом полагает, что стратегии нормализации в методологическом плане так же репрессивны, как и в социальном, что плохо.

Вопрос, в любом случае, заключается в том, следует ли брать советский период как самостоятельную общественно-политическую и социально-экономическую реальность, имеющую норму в самой себе, или же его надо рассматривать как более или менее искусственную имплантацию в «нормальную» историю, обусловившую временное отклонение от того, что можно было бы вслед за классиками назвать «естественноисторическим процессом». И уже в зависимости от такого решения должно определиться, что такое русские революционные процессы-события начала и конца XX в. (при всех оговорках относительно революционности второго эпизода) и что такое зажатый между ними советский период: нормальная фаза самостоятельной российской, а затем советской цивилизации, естественно продолжающая российскую историю и имеющая естественное продолжение в будущее (пусть даже в форме отрицания), или же это тотальная и долгая девиация, введенная революцией начала века, а закончившаяся ее контрреволюционным прекращением в конце того же столетия.

Приложимы ли методы структурализма и постструктурализма в данном случае, т.е. методы второго, «объективного» подхода? Надо сказать, что, во-первых, советская модель отли-

чается от культур, ставших главным и ярким объектом приложения этой методологии уже тем, что те культуры до первого контакта с «опередившей» их цивилизацией и в самом деле жили достаточно замкнутой жизнью, нередко даже не подозревая о существовании другой, столь отличной от них культуры, к тому уже еще и дерзающей их строго научно исследовать. Проще говоря, в этом случае объект не знает заранее о субъекте исследования и ничего от него заранее не хочет. В нашем же случае страна изначально живет в одно и то же время и своей жизнью, и постоянной оглядкой на Запад и капитализм, постоянным самоопределением в отношении Запада и капитализма, неважно, положительным или отрицательным. Чужая, прежде всего европейская, норма всегда присутствует в российской действительности независимо от того, принимается эта норма или отвергается. И это многое определяет. Поэтому брать российскую действительность в ее самости (и дореволюционную и советскую, может быть даже советскую в особенности) приходится вместе с этими идеологическими аксессуарами, в эту самую самость самым непосредственным образом входящими.

Во-вторых, советская действительность не может быть адекватно понята и описана без учета присутствующих в ней элементов Проекта. Правда, было бы неверно описывать эту реальность исключительно как реализованный макросоциальный проект, как построенный в натуральную величину макет нового общества — эта действительность строилась во многом как спонтанный процесс, без проекта, часто вопреки ему, а иногда даже перестраивая сам проект под собственные нужды спонтанного становления. Но в то же время нельзя и недооценивать роль проектной составляющей в становлении этой действительности. Конечно, и капитализм в отношении предшествовавшего ему феодализма несомненно был проектом, со своей идеологией и проекциями нового общества — общими планами и рабочими чертежами. И тем не менее в социализме момент проектности принципиально другой. Здесь он на порядок более значим. Из этого не следует, что в социализме реальность и есть воплощенный проект. Скорее наоборот, в капитализме воплощенная, точнее, воплотившаяся реальность ближе к провозглашенным идеалам и программным установкам, чем в социализ-

ме. Это парадокс: в социализме больше планового начала, но реальность дальше от плана; в капитализме планового начала меньше, но там, где оно есть, оно ближе к аутентичному воплощению. И все же в социализме плановое начало на порядок, качественно сильнее, чем в капитализме, причем не только в отношении текущих процессов, но и в отношении становления самого общества. В данном случае само присутствие проекта и установка на следование ему, сами импульсы проектности, масштабы, пределы и формы управляющего воздействия — все это, как ни странно, оказывается важнее того, строит ли проект действительность или действительность строит проект. Искореженный реальностью проект — это все же нечто принципиально другое, нежели продукт спонтанного и сколь угодно корявого развития, только в целом направлявшегося проектными установками самого общего характера.

В-третьих, мы входим, уже вошли в постсовременную эпоху, когда радикально меняется само отношение к проектности, к проектно-преобразовательному пафосу предшествующей цивилизации. Здесь важно очертить принцип: отношение к проектности меняется в истории именно в тот момент, когда появляется возможность реализовать сам *проект проектности*⁸, т.е. когда идея о том, что жизнь станет раем, если ее удастся построить по проекту этого самого рая, оказывается близкой к воплощению. До какого-то момента считается, что идеальное общество можно спроектировать и построить и проблема только в том, чтобы проект был хороший и чтобы строительство осуществлялось в соответствии с проектом. Соответственно, все неудачи подобного рода поползновений объяснялись либо несовершенствами проекта, либо критическими отклонениями от него в процессе реализации. Когда же появляется техническая (социотехническая) возможность реализовывать макросоциальные проекты хотя бы в первом приближении, но практически тотально, оказывается, что проблема уже не в том, что проект плох или плохо реализован, а в том, что жить в тотальном проекте, реализованном в натуральную величину, крайне некомфортно независимо от его достоинств и качества реализации. Тут же случается радикальная переоценка ценностей и начинается культивироваться все непроектное и спонтанное, обладаю-

шее достоинствами «природной» органики и естественности. В этом смысле то, что произошло в архитектурно-градостроительной идеологии и эстетике на закате модерна и на заре постмодерна, в точности соответствует переоценке ценностей в сфере социально-политической инженерии. И одним из выдающихся, если не самым выдающимся из исторических примеров в этом отношении является именно Советская Россия, в том числе в ее постсоветском продолжении. Проще говоря, конкретно-исторические тоталитаризмы плохи не потому, что основаны на ложных идеях и принципах или осуществлены с отклонением от идей и принципов правильных, а уже потому, что они тоталитарны. Об идеальном обществе мечтают, пока его нельзя реализовать, когда же мы еще только приближаемся к такой социотехнической возможности, оказывается, что идеальное общество — это торт, который вас заставляют есть три раза в день и без других вариантов в меню.

С этой точки зрения советскую и постсоветскую реальность уже трудно рассматривать по тем же методологическим схемам и с тем же пафосом имманентности анализа, с каким можно анализировать культуры и общества, не столь задействованные в новейших цивилизационных движениях.

Важно также то, что революции нового и в особенности новейшего времени приобретают мощную проектную составляющую, которая становится в них одним из ключевых, если не ключевым моментом. До сих пор популярна выдающаяся острота: все революции победны, иначе это зовется мятежом. Но здесь напрашивается и другое деление: все революции — проекты; если же за возмущением не стоит никакого макросоциального проекта, то тогда оно и зовется мятежом, бунтом, а лучше беспорядками, т.е. разрушительными (как и всякая революция) действиями, но без установки на то, чтобы тут же водрузить новый порядок на место только что разрушенного. Здесь нам даже не так важно, какую принять схему: а) в качестве особых исторических переходов революции как таковые возникают именно с расцветом проектности или же они б) были и раньше, но с какого-то момента проектность становится их главным содержанием и едва ли не критериальным признаком. И когда в истории цивилизации («этой», «нашей» цивилизации) меняется отношение к про-

ектности, синхронно и автоматически в ней меняется и отношение к революции. Причем эта пара отношений (к проектности и к революции) меняется одновременно и субъективно, и объективно: и со стороны общества, и со стороны эпохи, самой истории. Люди перестают уповать на макросоциальные проекты и молиться на революции — история же со своей стороны обрушивает эти недостроенные, но сильно продвинутые проекты и разного рода революционные начинания, как Бог Вавилонскую башню, и при этом резко ограничивает проектно-преобразовательный потенциал революций, а возможно, и просто удаляет их с исторической арены. Иными словами, революции историчны; как особый тип исторического перехода они не извечны и не вечны; они (в своем собственном смысле слова) были не всегда, они возникают и потрясают мир в эпоху революций — и уходят из этого мира с уходом этой эпохи.

И тогда появляется намек на новый тип исторического перехода. Итак, **ре-эволюция** это: 1) новая форма перехода от одной формации к другой, 2) с частичным возвратом к предыдущей, дореволюционной формации и 3) с возвратом из эпохи революций проектно-преобразовательного наклонения к ценностям и формам исторического движения скорее спонтанно-эволюционного типа.

Или так (для закрепления пройденного и в немного другой интерпретации) — **реэволюция** это событие-процесс: 1) в котором элементы революционного и эволюционного изменения присутствуют практически на равных; 2) в котором революционные по своей глубине изменения происходят в эволюционной форме; 3) и все это смешивается не потому, что реформа частично срывается в революцию, а революция, наоборот, осторожна и тянет на не более чем реформу, а потому, что все это происходит в период окончания эпохи революций и возврата к неревolutionным формам изменений, даже в случае их революционного содержания.

Что мы и имеем удовольствие наблюдать в России на рубеже XX и XXI вв.

Правильность наших оценок и планов будет зависеть от того, насколько нам удастся увидеть за симптомами локальных изменений симптоматику более общего, а то и вовсе эпохального

свойства, насколько мы сможем решать текущие проблемы, учитывая, что они встроены в систему изменений более общего порядка, глобальных и исторических. Насколько нам удастся за противостояниями, разворачивающимися в политическом пространстве, увидеть противостояния исторического времени.

С глобальными, геополитическими изменениями несколько проще. Они видны, они почти осязаемы. Новый мировой порядок воплощен, воплощается и перевоплощается в международной политике. Страны, блоки, региональные системы, культурные и цивилизационные ареалы, их действия и взаимоотношения — все это так или иначе опредмечено. Точно так же опредмечены внутриполитические альянсы и фронты. Здесь всегда есть, на что более или менее прямо указывать и что считать эмпирией, фактурой. Это, естественно, не непосредственная данность якобы свободных от теоретической нагрузки фактов, как это мыслилось в логическом позитивизме, но это все же ситуация, когда эти интерпретируемые нами факты, как минимум, наличествуют.

С историей сложнее. Сложнее с историческими изменениями, а главное, с изменениями самой истории (с движением метаистории). Эти изменения сразу не видны⁹. Вызовы наших внутри- и внешнеполитических контрагентов мы фиксируем сразу; вызовы времени, вызовы прошлого и будущего мы иногда долго не улавливаем, продолжая копаться в коллизиях настоящего, когда надо строить отношения с оппонентами не других партий, а других времен. Актуальное всегда мешает видеть историческое.

И тем не менее уже сейчас понятно, что изменения на рубеже последних веков в России синхронизированы с изменениями глобального и цивилизационного уровней. Более того, они «вложены» в эти изменения, являются их составной частью. Это значит, что наши события и процессы последних лет вызваны, точнее, частично обусловлены процессами глобального и цивилизационного порядка, а потому не могут регулироваться в режиме национальной автаркии. Это значит также, что они должны политически обслуживаться новыми идеологиями и техниками, хотя бы не противоречащими постсовременной реальности мира и истории.

Между событиями в России последних лет и событиями «истории мира» существует промежуточный уровень — история российской цивилизации. В этом уровне, в свою очередь, есть своя отдельная история — история российских реформ, реакций и контрреформ, революций и возвратов в нереволюционное русло.

Последнее более или менее понятно. И это сейчас главное, что определит политический портрет нового правления для настоящего и будущего. Всегда есть шанс опять войти в порочный круг, в котором история России чередует реформы и контрреформы, а есть шанс и разорвать этот круг. И это задача поистине эпохальная. Во-первых, потому что нынешний современный, а точнее, постсовременный мир не оставляет нам выбора. Если раньше, загубив очередную реформу, можно было надеяться через какое-то время поднять страну кнутом, то в XXI в. на это рассчитывать не приходится: теперь свобода — это главный ресурс развития, и те, кто боятся в полной мере испытать на себе ее жестокие удовольствия, отстают безнадежно. Во-вторых, потому что в России впервые наметилась возможность не оборвать реформу, а продолжить ее, может быть, даже завершить, но уже в режиме правильно организованной и прогрессивно ориентированной реакции. Строго говоря, судьбу реформы определяют не те, кто ее начинают, а те, кто ее заканчивают. До сих пор мы на века запоминали великих реформаторов, особенно с революционными наклонностями, но не имели в своей истории (в истории реальной и в истории писаной) столь же великих продолжателей реформ, не говоря уже об их «завершителях». Про гениев говорят, что природа отдыхает на детях. Когда нечто подобное систематически происходит в истории национального реформаторства, это говорит уже не о способностях правителей, а о состоянии самой страны, возможно даже, о ее не совсем здоровой генетике.

Сложнее с биографией российской цивилизации, в которую история российских преобразований вложена как отдельный сюжет. Это уже не вопрос очередных реформ и контрреформ, а вопрос изменений (чтобы не сказать *ломки*) традиций, укладов, национального характера.

Двигаясь вослед западной цивилизации (передовым ее представителям), т.е. пытаясь сократить разрыв, следуя той же колее, Россия обречена на отставание, которое в одних отно-

шениях в обозримом будущем непреодолимо, а в других отношениях будет даже увеличиваться. Если же мы уловим траекторию совершаемого цивилизацией поворота и спроектируем ее далее, мы сможем *срезать угол* и, как минимум, сократить отставание, а в чем-то, возможно, даже заскочить на нашу излюбленную территорию, которая не так давно называлась «вперед планеты всей». И это не утопия, поскольку дух постсовременности изначально присущ России с ее почти патологической всемирной отзывчивостью, положившей начало нашему застарелому *русскому постмодерну*. И если есть некие предпочтительные сочетания больших стилей и наций, например, итальянцев и барокко, французов и классицизма, немцев и функционализма и т.д., то Россия в эпоху постсовременности могла бы хоть немного потешить себя подозрениями в том, что «вот приходит *наше время*». Пусть к этой встрече мы подошли в крайне потрепанном состоянии, но по крайней мере нам будет несколько легче приводить себя в порядок, если, конечно, мы сами уловим дух этого «нашего времени».

Примечания

- ¹ См.: Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля до Путина. М., 2001.
- ² См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
- ³ Цит. по: Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции. От Кромвеля до Путина. С. 123.
- ⁴ Там же. С. 133.
- ⁵ Там же. С. 134.
- ⁶ Там же.
- ⁷ Там же. С. 133.
- ⁸ Словосочетание «проект проектности», на мой взгляд, несет в себе очень серьезную смысловую нагрузку. Это своего рода *первая производная проекта*. Если проект как таковой есть некое предначертание реальности, какой ей надлежит быть после воплощения данного проекта, то *проект проектности* — это предначертание той реальности, которую мы обретем, когда человечество, наконец, совладеет с неразумной стихией истории и сможет все планомерно и разумно устроить. Иными словами, проект проектности — это проект жизни по проекту. Это проект мира, в котором доминируют проекты и в котором именно через проекты решаются все ключевые проблемы.

⁹ Это вопрос более общего порядка, например, различия в онтологии между географией и историей. «География» так или иначе видима, ее можно сфотографировать, скажем, из космоса. «Снимок» истории так просто не делается. И это сложнее, чем простое различие между фотографированием и киносъемкой. География – это фотографирование того, *что есть*, что *еще есть*. История – это не просто киносъемка, но *киносъемка наоборот*, назад. Это обращенная вспять хроника, фиксация, воспроизведение *уже не существующего*. Объект географии физически существует независимо от того, описали мы его или нет. Объект истории физически не существует вовсе, о его «существовании» приходится говорить в совершенно другом смысле. История одновременно и существует вне нас как *то, что было*, и не существует – как то, к чему можно было бы обратиться в момент исследования как к более или менее непосредственно данной реальности. Все нюансы относительно непрерывной изменчивости и текущих изменений географии, с одной стороны, и косвенно отмеченной истории, с другой, не меняют сути этого различия. Разве что принять прогнозирование будущего географии как историю, опрокинутую вперед. Но в любом случае геополитика проще пишется и лучше усваивается, чем хронополитика и геоистория. Что же касается совмещения пространственно-временных трендов в рамках некоего глобального хронотопа, то это и вовсе задача следующего порядка.